

## РУССКИЙ ЯЗЫК, ИЛИ РУССКАЯ КРЕПОСТЬ

Заметки главного редактора

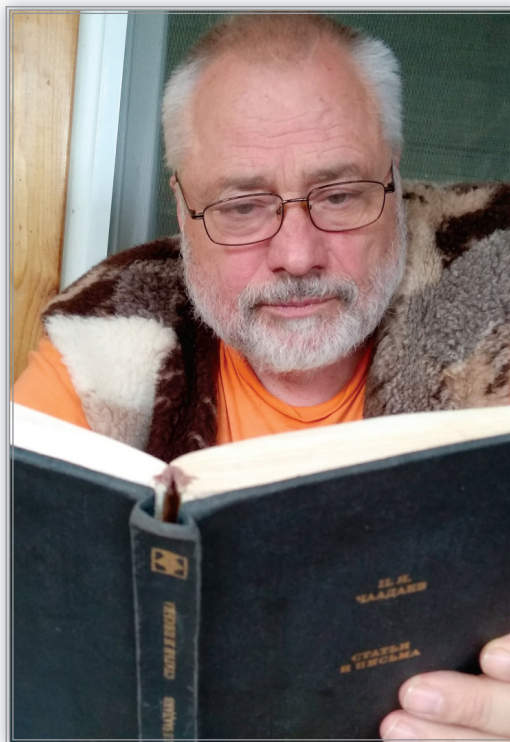
*Владимир Кантор*

Главный редактор журнала  
«Философические письма.

Русско-европейский диалог».

Доктор философских наук, ординарный  
профессор. Заведующий Международной  
лабораторией русско-европейского  
интеллектуального диалога НИУ ВШЭ.

E-mail: vlkantor@mail.ru



DOI 10.17323/2658-5413-2019-2-2-10-26

Мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек Кремля, Акрополя, все равно, как бы ни называлось это ядро... Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть Россия принадлежит к неорганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, — именно язык. Столь высоко организованный, столь органический язык не только — дверь в историю, но и сама история.

*Осип Мандельштам. О природе слова*

Каждый европейский язык, становясь серьезной культурной единицей в большой стране, объединяет разные племена и народы. Но прежде один пример: общеизвестно, что в основе европейской культуры лежит Евангелие, наднациональная книга, обращенная ко всем народам — для нее нет ни эллина, ни иудея. То, что у немцев получило название hochdeutsch — высокий немецкий, было создано Мартином Лютером, который перевел с латыни Новый Завет, одухотворяя и усложняя свой язык, делая его надплеменным. До сих пор разные немецкие земли пользуются каждая своим германским наречием, но единство немецкой культуре дает hochdeutsch. Все великие литературные и философские произведения в Германии написаны на нем.

В России языковая ситуация складывалась более сложно. Церковные книги существовали на церковнославянском, светские публикации приходили с Запада. Перед интеллектуалами стояла та же задача, что и перед Лютером: сделать так, чтобы русский язык создал понятия, адекватные западноевропейским, усвоив при этом церковнославянскую евангельскую мысль, сделав ее частью русской, чтобы не было интеллектуального разрыва между русской ментальностью и европейской. Это оказалось возможно, поскольку Россия как христианская страна существовала в ареале европейских, несмотря на схизму, которая, как писал Пушкин, отделив нас от католической конфессии, оставила христианами, то есть народом, принявшим основные ценности европейцев. Неслучайно Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, вышли из Византии, но жизнь завершили в Риме. Они соединили славянскую речь с речью, породившей Европу. Как писал Вячеслав Иванов, «церковно-славянская речь стала под перстами боговдохновенных ваятелей души славянской, св. Кирилла и Мефодия, живым слепком “божественной эллинской речи”, образ и подобие которой внедрили в свое изваяние приснопамятные Просветители» (Иванов, 1990: 146).

Философически и литературно функционирующий русский язык был осознан как культурфилософская проблема по меньшей мере с XVII в. Знаменитый хорват Юрий Крижанич, долго живший в России, писал: «Наш язык беден <...> добрыми качествами. <...> Он скуден, несовершенен. <...> Мы не имеем названий для искусств и наук, для приказов и вещей военных, для городских приказов, для добродетелей и пороков» (Крижанич, 1997: 152).

Весь XVIII в. в России шла работа по расширению и углублению понятий на русском языке. Начиная с Ломоносова, Тредиаковского, Фонвизина, Державина, Карамзина создавалась основа, на которой мог вырасти Пушкин. Скажем, если столетием ранее Россия была местом для европейского интеллектуального сафари, то Карамзин уже ясным русским языком рассказал соотечественникам в «Записках русского путешественника», что такое западная культура. Произошла смена векторов: не Запад изучал Россию, а Россия — Запад. Но для этого западные понятия должны были быть освоены.

Однако и после Карамзина Пушкин еще столь же суров и печален, как Крижанич: «<...> ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялась — метафизического языка у нас вовсе не существует» (Пушкин, 1962а: 259). Говоря, что Россия развивалась иначе, чем Западная Европа, Пушкин отнюдь не ликовал: «Феодализма у нас не было, и тем хуже» (Там же: 323). Если националисты другую по сравнению с западноевропейской формулу русской истории воспринимали как положительный фактор, то Пушкин — как горестный. Он видел развитие европейское — в христианстве: «Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть

история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе стране, находящейся вне европейской системы!» (Там же). Стало быть, Россию и русский язык надо было ввести в европейскую систему.

И такая работа шла начиная с Петра Великого. Цветаева недаром назвала Пушкина предсмертным и бессмертным подарком Петра России. Как писал некогда Б. А. Успенский, именно «Петр I принимал прямое участие в решении языковых проблем: <...> он предписывал переводить “Географию генеральную” Варения и лексиконы “не высокими словами словенскими, но простым русским языком”; равным образом он предложил Синоду перевести “Библиотеку” Аполлодора на “общий Российский язык”, а также составить катехизис на “простом” языке. <...> Была выдвинута задача создания нового литературного языка» (Успенский, 1994: 118–119)<sup>1</sup>.

Вся последующая российская словесность, строго говоря, решала задачу, поставленную Петром перед державой. Можно с уверенностью заметить, что с эпохой Петра кончилась языковая изоляция России. Иными словами, немецкий язык начиная с петровской эпохи стал реальным «воспитателем» русского и посредником между его настоящим и прошлым. Ну хотя бы такая деталь, для меня очень важная: «Одиссея» Гомера была переведена Жуковским с немецкого языка. Если учитывать, что с Петра Россия оказалась способной к усвоению высших на тот момент завоеваний культуры, тогда нужно принять как показатель реального духовного роста страны появление «метафизического языка», на отсутствие которого жаловался еще Пушкин, и появившаяся благодаря ему возможность философских размышлений, а параллельно — усвоение высших на тот момент технических достижений. Хорошо известно, что Петр пытался пригласить в Россию Лейбница и последовал его совету организовать Академию наук — в стране, находившейся в лучшем случае на уровне дьячковой церковно-приходской грамотности, да и то далеко не везде: для усвоения высших идей мировой культуры необходимо было создавать слой людей, способных к интеллектуальной работе. Петр привез на родину работу Локка «О толеранции», которая по его повелению была переведена на русский. Иными словами, пытался ввести в Россию то высшее, до чего доработалась к тому времени Европа.

Интересно, что Запад конца XIX — начала XX вв. ждал от новой русской литературы тайны живой жизни. Казалось, что Россия сильна своим отказом от рацио. Казались откровением тютчевские слова «Умом Россию не понять». По мнению западных почвенников, русские хотят от личности самоотречения, они любят нирвану, они опасны своей волей к небытию, своим восторгом перед безличием и бессознательностью первозданной природы. Начало такого понимания ведется от француза Эжена де Вогюэ, который после своей фунда-

<sup>1</sup> Заметим еще, что Петру принадлежит заслуга создания современного алфавита.

ментальной статьи «Русский роман» (1886) по всякому поводу утверждал, что французам необходимо учиться у современных русских писателей: лишь такое вливание даст живую кровь французским литераторам. И в этом контексте понятна сила пушкинского слова, его страстная, очень личная, почти декартовская фраза: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Высокомерное и снисходительное умиление, конечно, неприменимо к ясному Пушкину, который не раз заявлял, что *«на поприще ума нельзя нам отступить»* («Послание цензору», 1822)<sup>1</sup>.

Можно твердо сказать, что позиция его была единственно возможной для решения ошутимо великой миссии — **созидания** русской культуры, русского языка, а стало быть, и всех основных понятий — Добра и Зла, Правды и Греха, Достоинства и Низости, Стыда и Бесстыдства, Чести и Рабства, что требовало как переосмысления и возведения в новую степень всех духовных запасов Древней Руси, так и внесения новых смыслов. «Все должно творить в этой России и в этом русском языке» (Пушкин, 1962б: 347), — писал Пушкин.

В. А. Жуковский 26 декабря 1826 г. в письме П. А. Вяземскому высказал замечательную мысль: «Нет ничего выше, как быть писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писатель с гением сделал бы более Петра Великого. Вот для чего я желал бы обратиться на минуту в вдохновительного гения для Пушкина, чтобы сказать ему: “Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сделать более всех твоих предшественников!”» (Жуковский, 1983: 368). Иными словами, продолжить цивилизацию России — значит дать, подобно Создателю, именованию окружающему миру и тем культивировать его. Ибо имя — первый шаг к самопознанию и самосознанию. Эту задачу выполнила русская литература, назвав неназываемое. Иными словами, создав русский язык, умевший с тех пор, как и европейские языки, осознавать мир и поэтически, и философски, и научно, и логически, преодолевая витгенштейновское молчание.



Эжен-Мельхиор де Вогюэ.

Рубеж XIX–XX вв.

Фото сделано в «Ателье Надар», Париж

<sup>1</sup> Курсив во всех цитатах из Пушкина, за исключением особо оговоренных случаев, мой. — В. К.

Это была очень серьезная проблема, актуализировавшаяся, как ни странно, у нас последнее десятилетие. Казалось, что в XIX в., в послепушкинский период, преодоленная зависимость русского языка от западных образцов, его самостоятельность стали фактом. Уже прозвучали Гоголь, Тургенев, Лев Толстой, Гончаров. Формулу самостоятельности культуры вывел Пушкин:

Два чувства дивно близки нам —  
В них обретает сердце пищу —  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века,  
По воле Бога самого  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.

*Самостоянье человека* — гениальная формула. Но подхалимаж перед Европой, как показали еще Фонвизин и Грибоедов, оставался неизжитым. Это стало больной темой величайшего русского писателя и мыслителя — Федора Достоевского. Очевидно, нужно привести его зарисовку с размышлениями:

«Русские, говорящие по-французски (то есть огромная масса интеллигентных русских), разделяются на два общие разряда: на тех, которые уже бесспорно плохо говорят по-французски, и на тех, которые воображают про себя, что говорят как настоящие парижане (все наше высшее общество), а между тем говорят так же бесспорно плохо, как и первый разряд. Русские первого разряда доходят до нелепостей. Я сам, например, встретил в одну уединенную вечернюю прогулку мою по берегу Ланна двух русских — мужчину и даму, людей пожилых и разговаривавших с самым озабоченным видом о каком-то, по-видимому, очень важном для них семейном обстоятельстве, очень их занимавшем и даже беспокоившем. Они говорили в волнении, но объяснялись по-французски и очень плохо, книжно, мертвыми, неуклюжими фразами и ужасно затрудняясь иногда выразить мысль или оттенок мысли, так что один в нетерпении подсказывал другому. Они друг другу подсказывали, но никак не могли догадаться взять и начать объясняться по-русски; напротив, предпочли объясниться плохо и даже рискуя не быть понятными, но только чтоб было по-французски. Это меня вдруг поразило и показалось мне невероятною нелепостью, а между тем я встречал это уже сто раз в жизни. Главное в том, что тут наверно не бывает предпочтения, — хоть я и сказал сейчас “предпочли говорить”, — или выбора языка: просто говорят на скверном французском по привычке и по обычаю, не ставя даже и вопроса, на каком языке говорить удобнее.

Отвратительно тоже в этом неумелом мертвом языке это грубое, неумелое, мертвое тоже произношение.

Как хотите, хоть все это и старо, но это всё продолжает быть удивительным, именно потому, что живые люди, в цвете здоровья и сил, решаются говорить языком тощим, чахлым, болезненным. Разумеется, они сами не понимают всей дряхлости и нищеты этого языка (то есть не французского, а того, на котором они говорят) и, по неразвитости, короткости и скудости своих мыслей ужасно пока довольны тем материалом, который предпочли для выражения этих коротеньких своих мыслей. Они не в силах рассудить, что выродиться совершенно во французов им все-таки нельзя, если они родились и выросли в России, несмотря на то, что самые первые слова свои лепечут уже по-французски от бонн, а потом практикуются от гувернеров и в обществе; и что потому язык этот выходит у них непременно мертвый, а не живой, язык не натуральный, а сделанный, язык фантастический и сумасшедший, — именно потому, что так упорно принимается за настоящий, одним словом, язык совсем не французский, потому что русские, как и никто, никогда не в силах усвоить себе всех основных родовых стихий живого французского языка, если только не родились совсем французами, а усваивают лишь прежде данный чужой жаргон, и много что парикмахерское нахальство фразы, а затем, пожалуй, и мысли. Язык этот как бы краденый, а потому ни один из русских парижан не в силах породить во всю жизнь свою на этом краденном языке ни одного своего собственного выражения, ни одного нового оригинального слова, которое бы могло быть подхвачено и пойти в ход на улице, что в состоянии, однако, сделать каждый парикмахерский гарсон.

Таким образом сами осуждают свои бедные головы на печальный жребий не иметь во всю жизнь ни одной своей мысли» (Достоевский, 1981: 78–79).

Становление русского языка было задачей культуры. Известны слова Пушкина: «Я ударил об наковальню русского языка, и вышел стих, — и все начали писать хорошо» (Андреев, 1933: 237). Можно перефразировать: Пушкин ударил по наковальне языка — и тот зазвучал. О русском языке как спасительном средстве в трудные минуты писал Тургенев. И Пушкин, и славянофилы, и Тургенев, и Лев Толстой, и Достоевский прошли школу западноевропейских языков, присвоили их. На этой основе они создавали русский литературный и философский язык. Задача была, чтобы он соответствовал планке западноевропейских, и он выдержал. Если в начале XIX в. русские писатели и мыслители учились у западноевропейцев, то в начале XX в. уже Толстой, Достоевский, Чехов становятся ориентирами западноевропейской мысли и литературы. Пушкин мог шутить, мол, «панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет». Или: «...что <...> В высоком лондонском кругу / Зовет-

ся vulgar. (Не могу... / Люблю я очень это слово, / Но не могу перевести; / Оно у нас покамест ново, / И вряд ли быть ему в чести». Русский язык как живой организм поступил мудрее любых схоластов, он просто сделал своим и это слово, и другие. Так латинские и греческие, даже арабские и древнееврейские слова входили в состав новоевропейских языков как их органическая часть. Перечисление их заняло бы не одну страницу. Скажут: а Кожев, а Конрад? Но они и стали мыслителями и писателями других культур. Увы, создавать свою культуру можно только на своем языке. Но его надо чувствовать изнутри, а не портить, как Крученых.

Строя свой язык, выявляя его сущностные особенности, русские поэты и мыслители следом за Петром Великим понимали, что его сила должна опираться на силу державы. Пушкин гордился полтавской победой и разгромом Наполеона, презирая европейцев, ругающих Россию («Клеветникам России»):

И ненавидите вы нас...

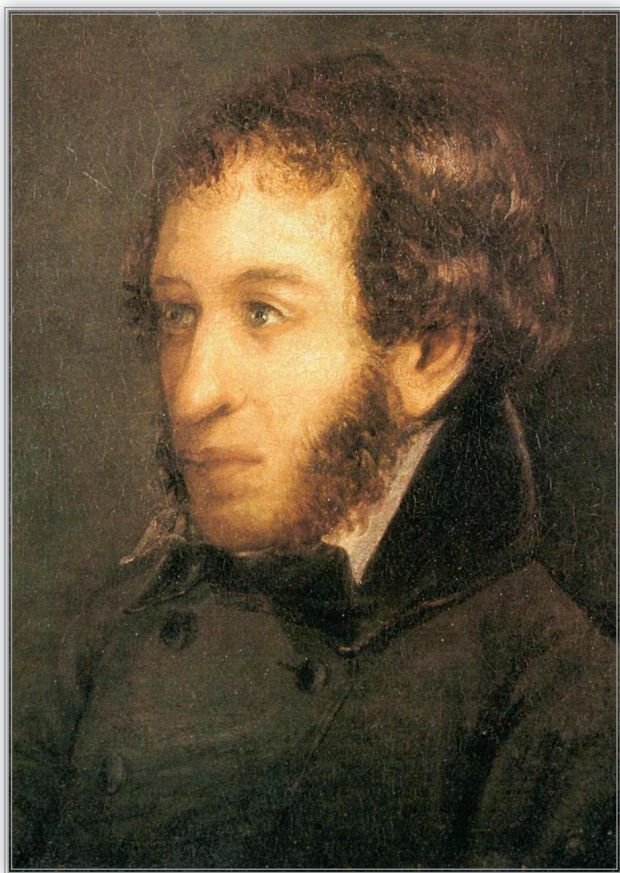
За что ж? ответствуйте: за то ли,  
 Что на развалинах пылающей Москвы  
 Мы не признали наглой воли  
 Того, под кем дрожали вы?  
 За то ль, что в бездну повалили  
 Мы тяготеющий над царствами кумир  
 И нашей кровью искупили  
 Европы вольность, честь и мир?..

Россия как спасительница **чести** Европы. Заметим, что строки эти с презрением к тогдашним *западным* европейцам пишет убежденный *русский* европеец. Ни один панславист не поддержал пушкинской резкости: вдруг раздражишь правительство, которое осторожно в политических играх. Неожиданно поддержал Пушкина Чаадаев, которого славянофилы не очень-то привечали, более того, обвиняли в предательстве России. Приведу строчки знаменитого в те годы поэта Николая Языкова против Чаадаева; по сути, это был почти призыв к расправе:

Вполне чужда тебе Россия,  
 Твоя родимая страна!  
 Ее предания святые  
 Ты ненавидишь все сполна.  
 Ты их отрекся малодушно,  
 Ты лобызаешь туфлю пап, —

Почтенных предков сын ослушный,  
Всего чужого гордый раб!  
Свое ты все презрел и выдал,  
Но ты еще не сокрушен...

«Криком языческого гнева» назвала эти строки Каролина Павлова, отнюдь не западница, сама писавшая при этом вполне верноподданнические вирши. А Чаадаев написал Пушкину по поводу «Клеветников Росси» как подлинный патриот, стоявший выше партийных дрызг, живший в истории и очень даже понимавший смысл пушкинских строк: «Я только что увидел два ваших стихотворения. Мой друг, никогда вы еще не доставляли мне такого удовольствия. Вот наконец, вы — национальный поэт; вы угадали, наконец, свое призвание. Не могу выразить вам того удовлетворения, которое вы заставили меня испытать. Мы поговорим об этом другой раз, и подробно. Я не знаю, понимаете ли вы меня, как следует? Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране. Да, мой друг,



Портрет А. С. Пушкина работы И. Л. Линева (1836–1837) и портрет Данте Алигьери кисти Сандро Боттичелли (1478?) — визуальное подтверждение правоты слов Чаадаева: «Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант... может быть, слишком поспешный».

Источник: Pushkin-book.ru Сайт Светланы Мрочковской-Балашовой



пишите историю Петра Великого. Не все держатся здесь моего взгляда, это вы, вероятно, и сами подозреваете; но пусть их говорят, а мы пойдем вперед; когда угадал... малую часть той силы, которая нами движет, другой раз угадаешь ее... наверное всю. Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант... может быть, слишком поспешный. Подождем» (Чаадаев, 1987: 205–206).

Понимают ли это западные поклонники Пушкина? Впрочем, можно напомнить восклицание Владимира Вейдле: «Европа восхищается воспринятой на азиатский лад, искусственно-экзотической Россией, но в Пушкине не узнает себя; если же узнает, то узнанного не ценит: ей хочется чего-нибудь поострее, поизломанней... А Россия, знает ли она еще, что Пушкин не только Пушкина ей дал, но и Данте, и Шекспира, и Гёте, — а потому и Гоголя, и Толстого, и Достоевского» (Вейдле, 1956: 168). Пушкин ничего не скрывал, был открыт, как никто. А все равно у Достоевского — упрек, что, мол, унес в могилу некую тайну, которую мы принуждены теперь пытаться как-то раскрыть.

Пушкин понимал, что складывание просвещенного общества в России идет против правил и сроков исторического развития. А сроки эти в «Евгении Онегине» он назвал вполне отчетливо:

Когда благому просвещенью  
Отдвинем более границ,  
Со временем (по расчисленью  
Философических таблиц<sup>1</sup>,  
Лет чрез пятьсот) <...>

Итак, **пятьсот лет...** Таков срок сложения общественно-исторической формации. От европейских веков варварства до «каролингского возрождения» — примерно пять столетий. Далее еще пять столетий до становления эпохи Возрождения и Реформации, от которых отсчитывает начало современная цивилизация Европы. Темы, над которыми размышлял друг Пушкина — Чаадаев. Поэтому «философические таблицы» содержат, быть может, намек на писавшиеся параллельно с «Евгением Онегиным» «Философические письма». Именно Чаадаев первым сказал о трагической судьбе России «в общем порядке мира», о том, что «плащ просвещения», брошенный России Петром, пришелся ей не в пору.

К XX столетию вопрос о русском языке стал острой проблемой культурного дискурса. Дело том, что он, вопреки всему, сложился в могучий европейский язык, что давало О. Э. Мандельштаму основание писать: «Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть Россия принадлежит к неор-

<sup>1</sup> Имеется в виду книга «Производительные и торговые силы Франции» Ш. Дюцена, в которой приведены статистические данные о европейских экономиках. *Прим. ред.*



Жан Вивьен.  
Портрет Чаадаева. 1820-е гг.

ганизованному, неисторическому кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, — именно язык.

Столь высоко организованный, столь органический язык не только — дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. “Онемение” двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова» (Мандельштам, 1993: 222).

Нигилизм как духовное событие России означает гибель языка и культуры. Отрицание деяния — как можно это назвать? Назвали. Маяковский: «Над всем, что сделано, ставлю nihil».

Удивительно страстно переживали изгнанники из Советской России судьбу языка. Это не милые слова о «великом и могучем», а почти вопль тоски, отчаяния и... гордости: «Из всего, что погибло в России, уцелел лишь русский язык. <...> Язык, что ослепительный окраски мотылек, выпорхнул из довольно-таки бесцветного кокона. Целое тысячелетие Россия жила этим коконом как прелюдией к гениальной симфонии. Такой прелюдии не было ни у языка Гомера, ни у языка Данте, не было ее вообще в истории культуры Запада. Культура эта строилась по-иному, чем культура России, — язык не играл в этой стройке доминирующей роли. Он скорее отставал от этой стройки, чем опережал ее. Западные языки явились как плод, а не как *завязь* западной культуры. Один лишь русский язык на нашей планете был *завязью* культуры, один лишь он, рванувшись в первые ряды борцов за нашу самобытность, стал водителем их, стал самой культурой» (Ермаков, 1998: 188).



О. Э. Мандельштам. Фрагмент групповой фотографии (сняты также К. И. Чуковский, Б. К. Лифшиц, Ю. П. Анненков). Санкт-Петербург, 1914

Семен Франк удивительно точно передал новый пафос российской жизни, вспомнив гениальный рассказ Достоевского «Бобок», где герой слышит доносящиеся из могил гнусные голоса. Мертвые, но не торжествующие и благородные, а мелкие и гнусные. Франк писал:

«Вспоминается мрачная, извращенная фантазия величайшего русско-го пророка — Достоевского. Мертвецы в своих могилах, прежде чем смолкнуть навеки, еще живут, как в полусне, обрывками и отголосками прежних чувств, страстей и пороков; уже совсем почти разложившийся мертвец изредка бормочет бессмысленное “бобок” — единственный остаток прежней речи и мысли. Все нынешние мелкие, часто кошмарно-нелепые события нашей

жизни, вся эта то бесплодно-словесная, то плодящая лишь кровь и разрушение бессмысленная возня всяких “совдепов” и “исполкомов”, все эти хаотические обрывки речей, мыслей и действий, сохранившихся от некогда могучей русской государственности и культуры после бешеной пляски революционных привидений, как последние дотлевающие огоньки после дьявольского шабаша, — разве все это не тот же “бобок”? И если мы, задыхаясь и умирая среди этого мрака могилы, в своих тревогах и упованиях продолжаем по инерции мысли бормотать о “заветах революции”, о “большевиках” и “меньшевиках” и об “учредительном собрании”, если мы судорожно цепляемся за жалкие, замирающие в нашем сознании остатки старых идей, понятий и идеалов и это бесплодное и бездейственное трепыхание чувств, желаний и слов во мраке смерти принимаем за политическую жизнь, — то и это все есть тот же “бобок” разлагающегося мертвеца» (Франк, 1991: 478–479)<sup>1</sup>.

Можно вспомнить строку Гумилева из стихотворения «Слова» — она прямо относится к этой теме: «Дурно пахнут мертвые слова».

<sup>1</sup> Франк С.Л. De profundis // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 478–479.



Б. М. Кустодиев.  
Портрет Е. И. Замятина. 1923

Сын священника, корабел, великий и самый смелый советский писатель Евгений Замятин очень хорошо помнил Евангелие от Иоанна, где было сказано, что в начале было Слово. И в 1921 г., когда интеллигенция стала планомерно истребляться, он воспел величие разума и его трагедию. Вот текст: «Единственное оружие, достойное человека — завтрашнего человека, — это слово. Словом русская интеллигенция, русская литература — десятилетия подряд боролась за великое человеческое завтра. И теперь время вновь поднять это оружие. Умирает человек. Гордый *homo erectus* становится на четвереньки, обрастает клыками и шерстью, в человеке — побеждает зверь. Возвращается дикое средневековье, стремительно падает ценность человеческой жизни, катится новая волна еврейских погромов. Нельзя больше молчать. <...> На за-

щиту человека и человечности зовем мы русскую интеллигенцию. Наше обращение не к тем, кто не приемлет сегодня во имя возврата к вчерашнему; наше обращение не к тем, кто безнадежно оглушен сегодняшним днем; наше обращение к тем, кто видит далекое завтра — и во имя завтра, во имя человека — судит сегодня» (Замятин, 1999: 49).

Конец Российской империи — это повод обратиться к 129-му псалму. Особенно здесь к месту последние стихи: «<...> да уповаet Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он избавит Израиля от всех беззаконий его». Беззаконий Россия совершила немало, надежда на силу мертвых не сбылась. Более того, произошло страшное превращение вчерашних мертвецов в живых злодеев.

В старину могли гадать, какими словами пользуются мертвецы; послеоктябрьский период дал набор новых существительных и глаголов, словоформ, словооборотов. словно ожили прокаженные слова футуристов, как у Алексея Крученых: «Дыр, бул, щыр, убешщур» и т. п. Все это весьма напоминает раз-



В. В. Маяковский.  
Фотография 1910-х гг.

бойничий клич «Сарынь на кичку!». Крученых беспощадно ломал русский язык. Недаром Маяковский назвал словесную бурду друга-футуриста «крученыховским адом». Ад приходит через искажение словесных смыслов.

Заговорили герои Андрея Платонова — Дванов и Копенкин, объявивший коммунистку Розу Люксембург Дульцинеей Тобосской, своей революционной музой: бред, чреватый смертью. Вспомним девочку Настю из платоновского «Котлована», которую заложили как основу фундамента будущего общества.

Но смерть в эти годы гуляла не только по России: вся Европа была охвачена смертной истомой, убивали тысячи и десятки тысяч невинных людей. Во главе людодерства на сей раз оказалась Германия. И она, как и в стародавние времена, приняла *Drang nach Osten*. Запыла-

ла Россия, города уничтожались. Не сумев взять Москву, немецкие фашисты три года осаждали Ленинград, уничтожив по меньшей мере две трети мирных жителей — миллионы людей. Параллельно шло тотальное уничтожение материальной и духовной культуры. Этот вызов приняли и солдаты, и поэты.

Перечитаем знаменитое и очень важное в данном контексте стихотворение Анны Ахматовой «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.  
Час мужества пробил на наших часах.  
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь,  
Не горько остаться без крова,  
И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем,  
И внукам дадим, и от плена спасем  
Навеки.

Язык надо было отстаивать, как дома, как землю. Русский язык для русского человека — это язык свободы. Очень важно (тому пример Ахматова, Мандельштам, Высоцкий), что родной язык дает тебе свободу и ты можешь не только хвалить существующее, но и критиковать, как не сможет ни один иностранец. Европейские языки знать надо, спору нет, это точка отсчета для создания собственного языка, который в эпоху потрясений отстаивал русский ум, почти как воины свои фортификации на поле боя. А слово противника — это учеба: так Петр Великий учился у шведов, голландцев и немцев, чтобы построить великий город, великий флот и немыслимо боеспособную армию; проигрывал, но снова находил силы, поражая сознание Запада, считавшего, что Россия не может состояться. Ленинградские музеи были разграблены, в церквях, в Камеруновой галерее устраивали конюшни, думали задавить Питер голодом, вымерла половина города, кто не умер голодной смертью, того добивали бомбами и снарядами. Три года держался город в страшной блокаде. И советское соединилось с русским, как в стихотворении Ахматовой «Победителям»:

Сзади Нарвские были ворота,  
Впереди была только смерть...  
Так советская шла пехота  
Прямо в желтые жерла «Берт».  
Вот о вас и напишут книжки:  
«Жизнь свою за други своя»,  
Незатейливые парнишки —  
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —  
Внуки, братики, сыновья!

И еще момент. Была вера в нечто высшее, чего не имели тогда фашисты со своим арийством:

Рядами стройными проходят  
ленинградцы,  
Живые с мёртвыми:  
для Бога мёртвых нет.

(«In memoriam»)



Н. А. Тырса.

Портрет А. А. Ахматовой. 1927

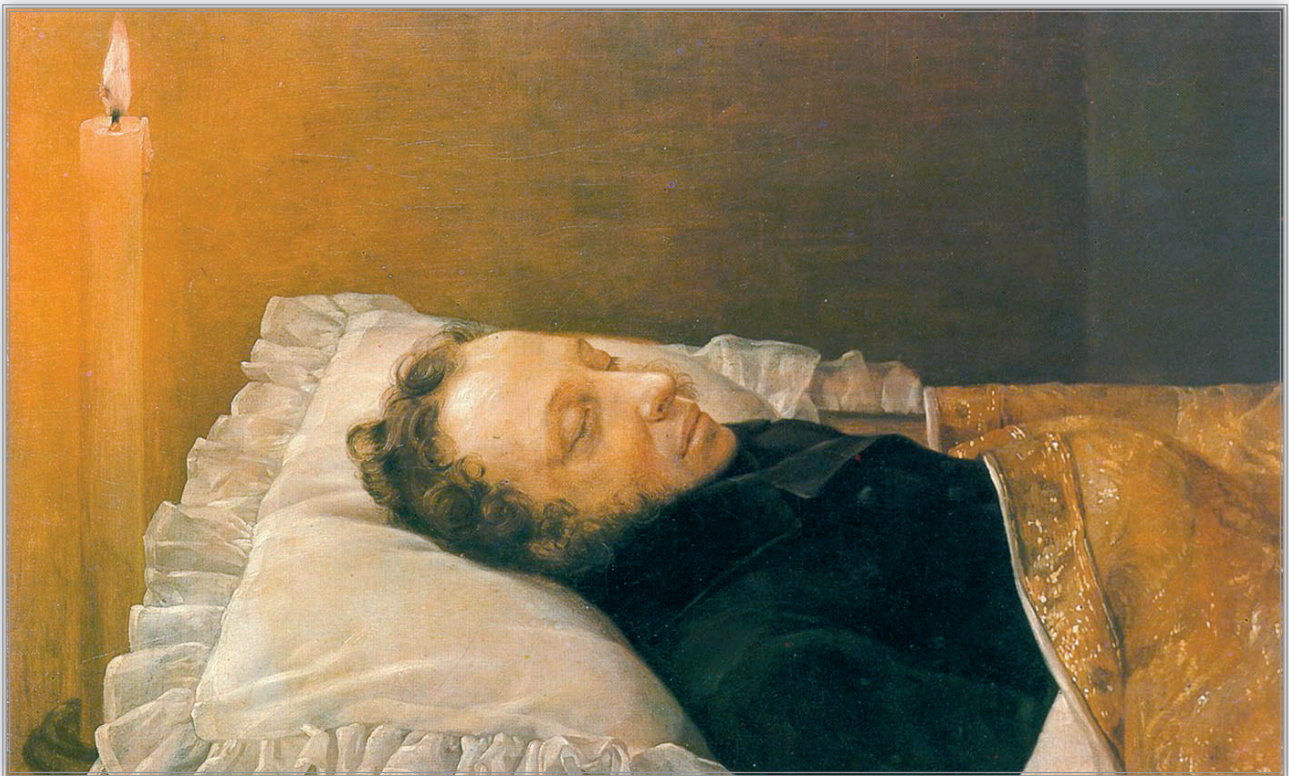
И над всем этим — имя Пушкина, сам Пушкин, для русского человека никогда не мертвый. Поэт, героически отстаивший свое право на свое слово. Такое право, чтобы и в смерти говорить так, что каждый услышит.

Что его недоброжелатели сделали с ним, убив его рукой француза Дантеса?.. Но что он сделал с ними — равнодушными друзьями, клеветниками, тайными советниками?! Ахматова писала: «Безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались.

Через два дня его дом стал святыней для его Родины, и более полной, более лучезарной победы свет не видел. Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий. Он победил и время и пространство» (Ахматова, 2016: 489).

В те дни Россия стала страной Слова.

И пока это слово существует, существует Россия.



А. А. Козлов. Пушкин на смертном одре. 1837.

Картина написана по собственному эскизу художника, сделанному 30 января 1837 г.

**Литература**

- Андреев А. С. (1933). Встреча с Пушкиным // Звенья. Т. 2. Л.: Академия. С. 235–241.
- Ахматова А. А. (2016). Слово о Пушкине // Ахматова А. А. Малое собрание сочинений. СПб.: Азбука.
- Вейдле В. В. (1956). Пушкин и Европа // Вейдле В. В. Задача России. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова.
- Достоевский Ф. М. (1981). Дневник писателя за 1876 год, май-октябрь. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т. 23. Л.: Наука.
- Ермаков Н. (1998). Русский язык // «В краю чужом...»: Зарубежная Россия и Пушкин. Статьи. Очерки. Речи. Рыбинское подворье. М.: Русский мир.
- Жуковский В. А. (1983). Эстетика и критика. М.: Искусство.
- Замятин Е. И. (1999). Завтра // Замятин Е. И. Я боюсь. Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие.
- Иванов Вяч. И. (1990). Наш язык // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Изд-во Московского университета.
- Крижанич Ю. (1997). Политика. М.: Новый свет.
- Мандельштам О. Э. (1993). О природе слова // Мандельштам О. Э. Собрание сочинений в четырех томах. Том I. М.: АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР.
- Пушкин А. С. (1962а). О причинах, замедливших ход нашей словесности // Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. 6. М.: ГИХЛ.
- Пушкин А. С. (1962б). 1823. Заметки и афоризмы разных годов // Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М.: ГИХЛ.
- Успенский Б. А. (1994). Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М.: Гнозис.
- Франк С. Л. (1991). De profundis // Вехи. Из глубины. М.: Правда.
- Чаадаев П. Я. (1987). Статьи и письма. М.: Современник.

**References**

- Andreev A. S. (1933). Vstrecha s Pushkinym // Zven'ja. T. 2. L.: Akademija. S. 235–241.
- Ahmatova A. A. (2016). Slovo o Pushkine // Ahmatova A. A. Maloe sobranie sochinenij. SPb.: Azbuka.
- Vejdle V. V. (1956). Pushkin i Evropa // Vejdle V. V. Zadacha Rossii. N'ju-Jork: Izd-vo imeni Chehova.
- Dostoevskij F. M. (1981). Dnevnik pisatelja za 1876 god, maj-oktjabr'. Poln. sobr. soch. v 30-ti t. T. 23. L.: Nauka.
- Ermakov N. (1998). Russkij jazyk // «V kraju chuzhom...»: Zarubezhnaja Rossija i Pushkin. Stat'i. Oчерki. Rechi. Rybinskoe podvor'e. M.: Russkij mir.
- Zhukovskij V. A. (1983). Jestetika i kritika. M.: Iskusstvo.
- Zamjatin E. I. (1999). Zavtra // Zamjatin E. I. Ja bojus'. Literaturnaja kritika. Publicistika. Vospominanija. M.: Nasledie.



- Ivanov Vjach. I.* (1990). Nash jazyk // Iz glubiny: Sbornik statej o ruskoj revoljucii. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta.
- Krizhanich Ju.* (1997). Politika. M.: Novyj svet.
- Mandel'shtam O. Je.* (1993). O prirode slova // Mandel'shtam O. Je. Sobranie sochinenij v chetyreh tomah. Tom I. M.: ART-BIZNES-CENTR.
- Pushkin A. S.* (1962a). O prichinah, zamedlivshih hod nashej slovesnosti // Poln. sobr. soch. V 10-ti t. T. 6. M.: GIHL.
- Pushkin A. S.* (1962b). 1823. Zametki i aforizmy raznyh godov // Poln. sobr. soch. v 10-ti t. T. 7. M.: GIHL.
- Uspenskij B. A.* (1994). Kratkij ocherk istorii russkogo literaturnogo jazyka (XI–XIX vv.). M.: Gnozis.
- Frank S. L.* (1991). De profundis // Vehi. Iz glubiny. M.: Pravda.
- Chaadaev P. Ja.* (1987). Stat'i i pis'ma. M.: Sovremennik.